

единодержавие, или, по крайней мере, литературная власть должна быть принадлежностью сильной и умной олигархии. Литературная демократия, безначальство у нас никуда не годится.

Власть, разбитая по многим рукам, власть, сошедшая с вершин на плоскость, не умножает внутренней силы литературы, а только роняет достоинство ее. Власть большинства рождает посредственность. Плодущие роды не всегда обозначают сильную организацию. А из явившихся на свет иные оказываются мертворожденными, многие не живучими. Власть должна оставаться достоянием немногих, но только была бы она зиждительна и законно устроена. Таков закон природы и провидения. Великие умы, высокие дарования никогда и нигде не родятся сплошь да рядом. Светлые исторические и литературные эпохи имели всегда во главе своей немного избранных и предназначенных к делу представителей. Великие истины воплощаются и проявляются всегда в одном лице, а от него уже развиваются по общинам поколений. <...> В лучшие эпохи и у нас литературная держава переходила как будто наследственно из рук в руки. На нашем веку литературное первенство долго означалось в лице Карамзина. После него олицетворилось оно в Пушкине. В настоящую минуту верховное место в литературе нашей пусто. Наша эпоха отвечает исторической эпохе нашего междоусобия, смут и самозванцев. В этом безначалии заключается второй важный недостаток нашей современной литературы. Разумеется, есть и теперь дарования блестящие, добросовестные, но нигде не выглядывает хотя бы литературный Пожарский, который был бы, так сказать, предтечею и поборником водворения законной власти. Силы раздробленные, второстепенные не могут заменить силу полную и сосредоточенную. Нет направления, нет стройного законного развития. Направление к расстройству, к беспорядку мы не можем назвать направлением: это разве уклонение. Владычество противозаконное не есть владычество, а насилие. Куда ни посмотри, все более или менее значительные дробы. Нигде нет самостоятельных числительных сил, клонящихся к одному общему и богатому итогу. <...>

Языков и Гоголь

I

Кто только не совершенно чужд событиям русского литературного мира, тот мог встретить здесь наступивший год с двумя впечатлениями разнородными, но равно резко означавшимися. Одно из них порождало

в нас печальное и безнадежное сочувствие, под которым потрясается и изнемогает душа при утрате, на которую смерть положила свою печать несокрушимую. Другое отзывалось в нас звучным выражением жизни и открывало пред нами в области мышления светлые просеки, пробуждало в нас новые понятия, новые ожидания. В первый день 1847 года пронеслась в Петербурге скорбная весть о кончине поэта Языкова¹ и появилась новая книга Гоголя². По крайней мере, я в этот день узнал, что не стало Языкова, и прочел несколько страниц из «Переписки с друзьями», где между прочим начертана верная оценка дарованию Языкова. Эти строки обратились как бы в надгробное слово о нем, в светлые и умирительные о нем поминки. Это известие, это чтение, эти два события слились во мне в одно нераздельное чувство. Здесь настоящее открывает пред нами новое будущее; там оно навсегда замыкает прошедшее, нам милое и родное. Там событие совершившееся и высказавшее нам свое последнее слово, поприще опустевшее и внезапно заглохшее непробудным молчанием. Здесь событие возникающее, поприще, озаренное неожиданным рассветом. На нем пробуждается новое движение, новая жизнь; слышатся новые глаголы, еще смутные, отрывчивые; но уже сознаем, что, когда настанет время, сим глаголам суждено слиться в стройное и выразительное согласие созревшего и полного убеждения. <...>

III

Прежде нежели начнем подробный разбор книги Гоголя, спешим сказать о ней наше мнение вообще. Оно будет заимствовано из слов самого автора: она была нужна. Это лучшая похвала книге. Так нужен был перелом. Перелом этот тем полезнее, что противодействие истекло из той же силы, которая неволью, но не менее того всеувлекательным стремлением, дала пагубное направление. Объясним свою мысль. На авторе лежала обязанность не двусмысленно, не сомнительно, а гласно и, так сказать, торжественно разорвать с частью своего прошлого, то есть не столько своего собственного прошедшего, сколько того, которое ему придали, с одной стороны, безусловные и чрезмерные поклонники, а с другой — многочисленные и неудачные подражатели. Те и другие сильно опутали и оговорили ответственность его. Я всегда был того мнения, что Гоголь сам по себе и сам за себя дарование необыкновенное, что он занимает светлое и высокое место в литературе нашей; но вместе с тем, что как родоначальник школы, во что хотели возвести его, он был не только не у места, но даже вреден. Отдельный голос его имел прекрасное и полезное значение. Но на беду сто голосов подтянули ему и все дело испортили. Рано или поздно Гоголь с своим метким и рассудительным умом должен был это почувствовать и опом-

ниться. Нет сомнения, что на крутой поворот его, который так всех удивил и многих сбил с толку, подействовали не столько озлобленные противники, сколько бедные приверженцы его. Чему мог научиться он от хулителей своих? ровно ничему. Выдавая себя за белоручек и недотрог, они только чопорно возмущались и брезгали картинами его, не довольны опрятными для их целомудренной взискательности. Из творений Гоголя испарялись запахи, которые тревожили их изнеженные нервы. Эти господа, как городничиха в «Ревизоре», хотят, «чтобы у них в комнате все было *амбре*». Тогда, зажмуря глаза и нюхая, они говорят: «Как хорошо!» Забавно было видеть, как они учили Гоголя светской вежливости и утонченным приемам своего избранного круга. Здесь кстати вспомнить то, что Пушкин давно уже сказал о них: «Что за нежный и разборчивый язык должны употреблять господа сии с дамами! Где бы, как бы послушать? — То-то и беда, что нашему брату негде»³. Разумеется, все эти упреки и требования наших журнальных маркизов и мирлифлеров мало озабочивали смиренную и опростонародившуюся натуру Гоголя. Стало быть, учение их пошло не впрок. Но что сделать не могли неприятели, то предоставлено было делать друзьям. Пошлая брань и неосновательные придирки могли и должны были проскользнуть мимо внимания его. Но чрезмерные, часто ложные похвалы, приторные гимны усердных поклонников не могли не навести уныния на человека с умом светлым и высоким. Тут и самолюбие не могло помочь. Самое ненасытное самолюбие не устояло бы против такого пресыщения. В некоторых журналах имя Гоголя сделалось альфой и омегой всякого литературного рассуждения. В духовной нищете своей, многие непризванные писатели кормились этим именем, как единым насущным хлебом своим. Я очень понимаю, что наконец Гоголю должны были опротиветь и самое имя его и творения, им написанные. Для умного человека, сознающего свое достоинство, нет ничего тошнее и оскорбительнее похвалы невпопад и неуклюжей. Другой, одаренный веселостью более беспечною и насмешливою, дружески и радушно подшутил бы над своими назойливыми хвалителями. Он попросил бы их оставить его в покое и, пожалуй, смешить благоразумных людей, если им того хочется, но по крайней мере не его именем, не его авторскою личностью. Но смешное, то есть безобразное, не всегда возбуждает в Гоголе чистую веселость. Она не всегда выражается у него простосердечным смехом. Часто в насмешливости его отзывается горечь и глубокая скорбь. Досмотрите на многие карикатуры его: смешно и больно. От смеха тяжело на сердце. Он в некотором отношении Гольбейн, и, например, «Мертвые души» его сбиваются на пляску мертвецов⁴. Это почти трагические карикатуры. Таковое замечательное и странное свойство его отозвалось и в этом случае. Идолопоклонство,

которого он сделался целью, показалось ему так смешно, что ему стало до нестерпимости грустно. Смешное смешным само по себе, но в этих похвалах было и такое, которое неминуемо должно было растревожить и напугать его здравый ум и добросовестность; его хотели поставить главою какой-то новой литературной школы, олицетворить в нем какое-то черное литературное знамя. Таким образом с больных голов на здоровую складывали все несообразности, все нелепости, провозглашаемые некоторыми журналами. На его душу и ответственность обращали все грехи, коими ознаменовались последние годы нашего литературного падения. Как тут было не одуматься, не оглядеться? Как писателю честному не осыпать головы своей пеплом и не отказаться с досадою от торжества, устроенного непризванными и непризнанными руками? Все эти ликторы и глашатаи, которые шли около него и за ним с своими хвалебными восклицаниями и праздничными факелами, именно и озарили в глазах его опасность и ложность избранного им пути. С благородною решимостью и откровенностью он тут же круто своротил с торжественного пути своего и спиною обратился к своим поклонникам. Теперь, оторопев, они не знают, за что и приняться. Конечно, положение их неприятно и забавно. Но что же делать? Сами накликали и накричали они беду на себя. Но, впрочем, в утешение свое, если вырвался из рук их живой, могут они удержать за собою мертвых. Пушкин, Лермонтов, Грибоедов и этот бедный, неповинный Кольцов, который бог знает как сюда попал, не могут уже вступить за себя. Над ними безнаказанно могут они продолжать опыты своей гальванической критики. Так безжалостно и погоняют они их на своем журнальном заколдованном колесе, которое бесконечно у них вертится, не подвигаясь ни на шаг вперед.

Впрочем, что Гоголь попал в руки шарлатанов, это не мудрено: им нужны блестящие ярлыки, чтобы сбывать свои ничтожные снадобья. Но странно, что умные и добросовестные судии, едва ли не заодно с ними, сбились со стези умеренности и благоразумия в оценке трудов Гоголя. Это само доказывает, что тут было какое-то недоразумение. Каждый видел в нем то, что хотелось видеть, а не то, что действительно есть. Иначе как объяснить, что ум и пошлость, рассудительность и пустословие, понятия совершенно разнородные, мнения противоположные, сошлись заодно в суждении о достоинстве, полезности и многозначительности одного и того же явления. Что люди, провозглашающие наобум какое-то учение западных начал, искали в Гоголе союзника и оправдателя себя, это еще понятно. Он был для них живописец и обличитель народных недостатков и недугов общественных. Эти обличения несколько напоминали им болезненное, лихорадочное волнение французских романистов. Это было какое-то противодействие прежним, коренным

литературным началам. Они не понимали Гоголя, но, по крайней мере, так могли в свою пользу перетолковать создания его вымыслов. Но что те, которые отказываются и предохраняют нас от влияния чужеземного, что те, которые хотят, чтобы мы шли к усовершенствованию своим путем, росли и крепили в собственных началах, чтобы те самые радовались картинам Гоголя, это для меня непостижимо. В картинах его, по крайней мере в тех однородных картинах, которые начинаются «Ревизором» и кончаются «Мертвыми душами», — все мрачно и грустно. Он преследует, он за живое задирает не одни наружные и прививные болячки; нет, он проникает вглубь, он выворачивает всю природу, всю душу и не находит ни одного здорового места. Жестокий врач, он расстреливает раны, но не придает больному ни бодрости, ни упования. Нет, он приводит к безнадежной скорби, к страшному сознанию. Повторяем сказанное нами: этот взгляд автора, как отдельный, как принадлежность личности его, мог иметь достоинство свое и некоторую верность, хотя условную и одностороннюю. Но обратить этот частный взгляд в общее воззрение, но извлечь из него общее убеждение и на этом убеждении основать начала нового направления, новой литературной школы, все это приводит к хаосу противоречий, заблуждений, ложных выводов, из коих выпутаться невозможно.

IV

Теперь обратимся к новой книге Гоголя. Мы уже сказали, что, согласно с мнением автора, признаем ее полезною и нужною. Она именно кстати потому, что так противоречит современным произведениям, не могу решиться сказать — литературы, а разве книгопрядильной промышленности нашей. Она есть выражение нынешнего образа мыслей автора, род суда его над самим собою и, следовательно, суда над многими, потому что он отразился во многих. Как ни оценивай этой книги, с какой точки зрения ни смотри на нее, а все придешь к тому заключению, что книга в высшей степени замечательна. Она событие литературное и психологическое. А у нас эти события редки. Мы истратились на мелочи, мы растерялись в дневных пустяках. Действие, произведенное этою книгою, доказывает, что она не проскользнула по общему вниманию, а запечатлелась на нем по крайней мере на несколько недель. И это уже много, судя по легкомыслию, а частью и равнодушию нашего общества. Что все журналы о ней отозвались, кто как мог, кто как умел, это еще ничего. Но о ней много было словесных толков, прений, разговоров. Это гораздо важнее. Давно замечено, что толки у нас гораздо умнее и дельнее перьев. У нас, и слава Богу, общественный ум сам по себе, а журналы сами по себе. Приводя слышанные словесные толки

к общему итогу, или по крайней мере к выражению большинства, спрашивается: для вернейшего достижения цели своей, для надежнейшей пользы в таком ли виде должен был явиться перед обществом обратившийся или преобразовавшийся автор? Этот вопрос, кажется, разрешается не совершенно благоприятно для него не столько по существенному достоинству книги, сколько по ее внешним формам. Перелом был нужен, но, может быть, не такой внезапный, крутой. Самая истина, если хочет доходить до нас, должна подчинять себя некоторым условиям, соразмерять действие свое с ограниченностью нашей восприимчивости, щадить наше упрямство, наши слабости и дурные привычки. В произведениях художественных (а всякая книга, какого бы содержания она ни была, принадлежит им) есть свой узаконенный обман. В картинах есть тайны оптики, перспективы; соблюдение этих тайн приводит в стройность предметы и оттенки их, уравнивает впечатления. Для книг есть также свои тайны. В творениях Гоголя, как, впрочем, ни сильно и ни глубоко в нем художественное начало, вообще заметен недостаток в хозяйственной распорядительности, в размещении, в домостроительстве книжного здания. Не лукавствуя пред собою, прямо и смело вглядываясь в душу свою и в душу ближнего, он не довольно лукавствует перед зрителем, то есть перед читателем. Всегда преобладаемый одною мыслью, одним чувством или убеждением, он кидает их на бумагу, целиком, так сказать в необработанном, сыром виде, обещая себе и читателю своему привести их после в надлежащую отделку и стройность. Так в «Мертвых душах» казалось ему очень натурально сложить в одну часть всю домашнюю черноту человека, весь хлам и нечистоту общества, предоставляя себе в последующих частях ввести читателя в светлые и праздничные покои. Подобное распределение грешит и против художественности и против нравственной истины. В отношении к первой картина оттого слишком одноцветна; все выдается из нее слишком резко, обрубленно и грубо. В другом отношении наблюдение и благоразумие научают нас, что в нравственном мире не только многосложное общество, но и отдельный человек не иссечены из цельного камня. Как общество, так и человек образуются из составных частей. Наш свет не рай, но и не ад. Не все в нем благоразумие и чистота, но не все же безобразность и порча. В каждом человеке, пороком и злом, можно доискаться чувства совестливости, можно пробудить или предание, или надежду лучших дней; в обществе, хотя и болезненном, — и подавно. Во всяком случае, добро и зло, свет и тьма переливаются переходными отблесками и сумерками. В настоящей книге автор также мало заботится о том, как примут ее читатели. Перед нами был остроумный, забавный, хотя иногда и безжалостный рассказчик. Мы заслушивались его с веселостью и вниманием. Вдруг ни с того

ни с другого, так сказать, не прерывая речи, заговорил он совсем другое. Вышло по пословице: начал за здравие, а свел на упокой. Многим не верится, что пред ними тот же человек, что слышат они тот же знакомый и любимый голос. Другие гневаются, думая, что автор морочит их, ломают голову себе, чтобы взять в толк, зачем он так заговорил, хотя все, что он говорит, само по себе толковито, благоразумно и дельно. Но они не того ожидали. Оттого со стороны публики обчеты и недочеты, недоразумения, некоторого рода оборонительное противодействие. Положим, что автор мало-помалу изменил бы свое направление, что он, до оглашения полной исповеди своей, постепенно выказался бы в предварительных творениях, слегка проникнутых чувством религиозным, более благоволительным и миролюбивым, нежели в прежних своих сочинениях, и нынешняя книга не подняла бы такой тревоги, не озадачила, не ошеломила бы многих. Не подготовленные, не задобренные заранее маленьким прологом, многие читатели, из опасения обмолвиться, решились лучше осуждать, нежели хвалить: ибо, по мнению многих, извинительнее прорваться излишнею и несправедливою строгостью, нежели неосновательным, добрым отзывом. Впрочем, и то надобно сказать, в оправдание автору: книга его написана не в один присест. Не то чтобы он лег спать автором «Ревизора» и «Мертвых душ», а проснулся автором книги «Выбранные места из переписки с друзьями». Самое заглавие изъясняет историю книги, а письма с означением годов, когда они были писаны, историю внутреннего и постепенного перелома в понятиях человека. Уже за несколько лет пред сим началось в нем духовное преобразование. Об этом знали только некоторые приятели, поверенные его сердечных исповедей. Для них и появление книги Гоголя — совершение ожидаемого события. Но публика не была сообщницею в этой тайне, и вот что многих сердит, потому что мы не любим, когда нас застают врасплох. Вообще журнальная критика по поводу новой книги Гоголя явила странные требования. Казалось ей, будто она и мы все имеем какое-то крепостное право над ним, как будто он приписан к такому-то участку земли, с которого он не волен был сойти. На эту книгу смотрели как на возмущение, на предательство, на неблагодарность. Некоторые поступили в этом случае, как поступил бы иной помещик, хозяин доморощенного театра, если главный актер, разыгрывающий у него первые комические роли, вдруг, по уязвлению совести и неодолимому призванию, отказался бы от скоморошества, изъявив желание посвятить себя пощению и отшельнической жизни. Разгневанный Транжирин и слушать не хочет о спасении души его. Он грозит ему; под опасением наказания требует от него, чтобы он пустяков в голову не забирал, не в свои дела не вмешивался, а продолжал потешать барина, разыгрывая роли Хлестакова, Чичикова и тому

подобные. Можно было надеяться, что важность и духовное направление книги несколько образумят и критику нашу. Надежда не сбылась. Все написанное о ней было более или менее неприлично. Кто по заведенному обычаю вытаскивал из нее на удочку критики слова и отдельные фразы; рядил и судил о них, с важностью школьного учителя, который сам знает грамоту свою с грехом пополам. Кто из «уставщиков кавычек и строчных препинаний» углубляется в перетасовку запятых, щеголяя своими особенными познаниями по этой части. Это все еще бы ничего. Мы привыкли к объему и делопроизводству нашей журнальной критики. Нельзя же требовать отповеди мысли на мысль от людей, для которых литература мертвая буква, а не живое слово. Но худо и оскорбительно поступили те, которые оказывали сомнение в искренности убеждений автора. Можно не сочувствовать им, но и тогда должно их уважить. Ни в коем случае не подлежат они разбору критики холодной, суетной, человечески гордой и потому человечески шаткой и ограниченной. Да и как нам понять друг друга при совершенной противоположности мнений, душевных верований и основных начал? Один смотрит на жизнь с житейской стороны, снизу вверх; другой со стороны духовной, сверху вниз. Один признает власть разума и все подчиняет ей; другой поклоняется уничижению разума перед иною неразъяснимой, но сладостно и плодотворно тяготеющею над ним силою. И точка исхода, и цель направления, и путь и напутные средства — все различно. Где же сойдутся противники и где бы могли они сойтись? Странно присвоить себе право делать над живым телом анатомические опыты, рассекать живое сердце, как бесчувственное. Перед нами не вымышленное лицо, которому автор, по произволу своему, придает убеждения, чувства, страдания. Нет, здесь человек, плоть и кровь, страдалец, брат наш. Он изливает перед нами сокровеннейшие тайны свои; с духом сокрушенным, испытанным, он поверяет нам все, что выстрадал, в надежде, что исповедь его может принести некоторую пользу ближнему. А вы строго и самопроизвольно судите, разбираете, так ли он плачет, как следует, не притворяется ли он, не малодушничает ли? Вы подмечаете, ловите каждый стон его. Вы с жестокою радостью нападаете на него, когда вам кажется, что он промолвился, что он противоречит себе, как будто скорбь может всегда рассчитывать слова свои. Разумеется, что все это говорю не о той критике и не о тех критиках, о которых говорить нечего. С упреками своими обращаюсь я к той части судей изустных или письменных, которых голос должен быть принят в соображение и во внимание. Между ими некоторые погрешили недостатком доброжелательства, терпимости, братской любви, даже светского общежительства, на которые имеет полное право писатель, каков Гоголь; погрешили и недостатком законной, необходимой справедливости,

на которую имеет право каждый из нас. Русский человек даже и обидевшему его говорит: Бог простит! а Гоголь только тем пред вами и виноват, что вы не так мыслите, как он. Мы чувствуем и толкуем о независимости понятий, а в нас нет даже и терпимости. Кто только мало-мальски не совершенный нам единомышленник, мы того считаем парием, каким-то чудовищным исключением. Мы готовы закидать его камнями. Конечно, все это у нас еще ребячество. Дети обезьянствуют, корча взрослых людей; но худо, когда они заимствуют и погрешности их. Есть пороки наследственные, неминуемые злоупотребления, сроднившиеся с установленным порядком вещей и событий. Но есть пороки преждевременные, прививные. Они хуже всех других и более всего безобразят. Это ранние морщины на лице юноши. На молодой нашей литературе много наведено таких насильственных морщин.

V

Выше было уже замечено, что книга Гоголя не сочинение, а сборник писем и отдельных отрывков. Он собрал и напечатал их затем, что хотел искупить будто бесполезность всего, доселе им напечатанного, потому что в письмах его, по признанию тех, к которым они были писаны, находится более нужного для человека, нежели в его сочинениях. Это собственные слова его. Далее говорит он: «Я писатель, а долг писателя не одно доставление приятного занятия уму и вкусу; строго взыщется с него, если от сочинений его не распространится какая-нибудь польза душе и не останется от него ничего в поученье людям». Еще далее прибавляет он: «В этих письмах было кое-что послужившее в пользу тех, к которым они были писаны. Бог милостив, может быть, послужат они и в пользу и другим, и снимется чрез то с души моей часть суровой ответственности на бесполезность прежде писанного». Цель, которая была у автора в виду при напечатании книги своей, ясно и убедительно обнаруживается. Цель благонамеренная, прекрасная, братская. Нельзя благороднее и лучше понять важность и святость своего авторского звания. Уму беспристрастному, не отуманенному предубеждениями, нельзя не согласиться с этим. Исполнение соответствует ли благому намерению? И здесь беспристрастный, добросовестный суд совершенно оправдывает автора. Можно быть более или менее довольным приемами, изложением, которых держался автор в выражении мыслей, суждений и верований. Но нет сомнения, что чтение книги его ни в каком случае не может быть бесплодным. Много в нем, если не все, обращает внимание человека на самого себя, заставляет его невольно заглянуть в душу, осмотреться, допросить, ощупать себя. Не только в тех, которые ей сочувствуют, но и в других должна она неминуемо пробудить внимание

к вопросам, остающимся в стороне и в совершенном забвении при движении текущей и бесполезно-уплывающей литературы нашей. А между тем в этих вопросах таятся загадка нашей жизни и возможно объяснение оной. Автор, соглашаясь с мнением Пушкина, сознается, что преимущественное авторское свойство его есть умение подмечать и выразить пошлость пошлых людей⁵. Можно прибавить, что силою художества он облек эту пошлость в яркие краски и возвел ее до совершенства в своем роде. Стало быть, он прав: он честно и похвально заплатил дань свою искусству. Но худо то, что с его легкой руки эта пошлость разлилась по всей литературе нашей и сделалась ее общим и окончательным выражением. Честь и признательность автору, который, хотя и против воли, дал ложное и прискорбное направление, но зато ныне первый подает предостерегательный голос и зазывает собратий своих в область более обширную и возвышенную. Мир и забвение бедным коллежским регистраторам и другим канцелярским служителям! Пора оставить их в покое. Они до последней нитки переплатились с литературою нашей, которая взяла их на откуп. Гоголь до последнего колоса перекошил низменные жатвы нашего общества. Мудрено, как другие не догадались, что после него не осталось ни одного живого зерна, и голодные бросились на поле, опустошенное сильным и ловким жнецом. Ныне автор призывает на свой суд не мелкого чиновника, а себя и человека. Он расширяет и облагораживает круг своего действия. Он из уезда переходит и открытый божий мир. Посмотрим, будет ли нынешний пример так увлекателен и действителен, как прежний. Если полагать, что настоящая книга его не заслуживает пристального внимания общества, то должно бы заключить с прискорбием, что пошлость, о которой говорено выше, заразила не только поверхность нашей литературы, но прокралась и в глубину наших духовных потребностей, что она отучила нас от всего, что составляет нравственное достоинство человека.

Письма эти первоначально предназначены были к напечатанию по смерти автора. Разумеется, многое в них получило бы тогда особенное значение и силу. Загробный голос имеет какую-то непреложность и святость, которых лишено слово суетное, еще живущее и потому подверженное изменению. Иному в этой книге, как, например, завещанию, не следовало бы войти в состав ее. Что разрешается мертвому, то может быть превратно перетолковано в живом. А ближнего вводить в искушение и в кривые толки не должно. Проповедывая даже истину, нужно соразмерять ее силам и понятиям слушателей. Люди легковерны там, где можно подозревать зло. Они недоверчивы и остерегаются, когда проявляется пред ними добро, несколько необычное и не легко доступное. Смирение может казаться скрытою гордостью. На это у людей есть известное наречие: унижение паче гордости. А люди очень охотно осуждают ближнего гото-

выми поговорками. Это облегчает совесть их: не они обвиняют, а только применяют обвинение. Может быть, оно и придется кстати.

Впрочем, в частностях мало ли что можно подвергнуть замечанию и в чем можно поспорить с автором каждой книги. И в этой не все может быть принято беспрекословно. Случается автору передавать нам желания свои, упования за выводы и заключения непреложные. В общности и отношении умозрительном он почти всегда прав. В частных применениях, в действительности он иногда ошибается. Везде виден человек, который духовными исследованиями над собою и жизнью доискался многого и дошел далеко. Но практический человек отстал. Взгляд его не всегда светел и верен. Когда дело идет о житейском, он не всегда прямо глядит ему в лицо, а с угла умозрительной точки, как, например, в письмах: «Русский помещик», «Сельский суд и расправа», а частью и в других письмах. Не все то сбыточно, что желательно. Недостаточно написать прекрасные идиллии и мечтательные проекты о неразрывном мире, чтобы возвратить золотой век на землю. В письме об «Одиссее» есть тоже слишком много поэзии, но не в художественной оценке подлинника и перевода; тут поэзия у себя дома. Все в этом отношении сказанное автором и поэтически прекрасно, и критически верно. Но зато, когда он определяет действие, которое появление этого творения произведет на Россию, нельзя не признать, что автор слишком далеко заносится в область благонамеренных мечтаний: тут воображение критика строит воздушные замки и срывает золотые яблоки с небывалых деревьев. Странно, что люди и сильные, более прочих противодействующие влиянию и господству заразительных понятий и укоренившихся привычек, часто сами подчиняются им и невольно падают в общие злоупотребления. Нет сомнения, что главный недуг нашего времени есть неуверенность и преувеличение. Все натягивают все донельзя. Все силятся набить цену на истину, как будто настоящая, внутренняя цена недостаточна. В наше время не довольствуются тем, что дважды два четыре: все ищут какой-нибудь придачи. В политике, в литературе, в нравственных и общественных вопросах, в художествах, в промышленности все силы, все стремления настроены, направлены к тому, чтобы удивить выведенным итогом так, чтобы дважды два было по крайней мере пять. Иначе и не стоит за дело приниматься. Это входит в понятия о прогрессе. Время идет вперед, а с ним должно погонять и самую истину. В свою очередь, Гоголь очень забавно и верно осмеивает эту общую кичливость, которая везде открывает Америку и каждое найденное зернышко раздувает в репу. А между тем иногда и он сбивается на то же и видит новый мир там, где просто явление отрадное, но отдельное. Впрочем, в нем это не кичливость, а разве излишняя восприимчивость воображения, которое преувеличивает видимые предметы и пересоздает их по своему. Рассказывали о Дидероте,

что он в книгах не всегда читал то, что было в них напечатано, а каким-то междустрочным чтением то, что ум его прибавлял от себя. Взгляд Гоголя на вещи часто имеет одинаковое с этим свойство. Между тем тут действует еще и другое прекрасное начало: любовь к ближнему и к добру. Воплощенное и, так сказать, согретое на огне этой любви всякое благое желание в глазах его уже осуществляется в событие. Когда автор преследовал порок, он уже ничего в человеческой природе, кроме порока, не видал. Так сильно было его негодование. Когда он мысль свою устремляет на благую цель, он не видит препятствий и силою любви хотел бы творить чудеса, в которые он верует. Найдутся, вероятно, и другие недостатки в книге его, но они выкупаются общим достоинством ее. По прочтении ее нельзя не полюбить автора, не исполниться к нему уважением. Нельзя человеку, не исключительно преданному житейским потребностям, не позавидовать духовному состоянию его. Чувствуешь, что это состояние завоевано ценою многих борений, высоких страданий, ценою многих бессонниц, телесных и духовных, в которые проявились ему истины, им передаваемые живою и проникающею речью. Все это заставляет каждого призадуматься о себе самом. Все это зрелище трогательное и поучительное. Книга Гоголя напоминает книгу Сильвио Пеллико: «Об обязанностях человека»⁶. Знаменитый узник тоже выстрадал ее и вынес из стен своего заточения, как лучший и созревший плод многолетних испытаний. В ней также нет, по-видимому, ничего нового, изумляющего; она не раскрывает новой системы, нового учения. Вероятно, не один журналист, не один так называемый глубокий мыслитель с высоты ходулей своих отозвался с презрением о пошлости и ребячестве преподаваемых в ней нравоучений, давным-давно всем известных. Дело в том, что истину не изобретают, а только умением и трудом добывают, как золото. Оно искони существует, но сокрытое в недрах земли; другие также предвечно таятся в началах и законах нравственного и духовного мира. Одни алхимики думают, что можно сочинить золото. Одни малоумные и софисты воображают себе и хотят уверить других, что они сочиняют истины. Посмотрите, с каким глубоким уважением Пушкин упоминает о книге Сильвио Пеллико, как верно и уважительно характеризует он ее в нескольких строках. Между тем взгляд Пушкина на жизнь — не взгляд Сильвио Пеллико. По-видимому, в них мало духовных соотнесений и сродства. Но Пушкин, как всякий избранный, питал сочувствие ко всему прекрасному, искреннему, возвышенному. Он в данное время постигал его даже и тут, где не был единомышленником. Сравнивая русскую книгу с итальянской, мы преимущественно имеем в виду дух, напитавший обе книги, и путь, на который они указывают. В книге итальянского писателя отсвечивается более мягкости и нежности сердечной. Гоголь и в смирении и в братолюбии

своим сохраняет еще некоторую жесткость прежних своих приемов. Но при всей односторонности направления книги Гоголя она имеет более разнообразия и движения, нежели та. Она касается более или менее всех современных и животрепещущих вопросов, и на каждом вопросе автор зарубает отметку свою резким и ярким словом. Многие страницы в сей книге исполнены одушевления и красноречия, как, например, в письме «Женщина в свете», в котором так много свежести, прелести и глубокого верования в назначение женщины в обществе. Нужно иметь большую независимость во мнениях и нетронутую чистоту в понятиях и в чувстве, чтобы облечь женщину в подобные краски, когда на литературном поприще женщины сами клепят на себя, чтобы подделаться к мужчинам. Письма: «О нашей церкви и духовенстве», «О лиризме наших поэтов», «Христианин идет вперед», «Светлое воскресение», некоторые из литературных портретов его и оценок и многие другие места, здесь и там разбросанные в книге, могут стать наряду с лучшими образцами нашей прозы. Вообще язык и слог автора имеют здесь более стройности и зрелости, нежели в прежних его произведениях. Иногда, но гораздо реже, вырываются звуки слишком резкие, выражения как будто ошибкою попавшие сюда, из старых его рукописей. Там они были более или менее у места, но здесь бросаются в глаза, как сорняки, про которые автор упоминает в письме «Об Одиссее». Вообще все, на чем может в этой книге остановиться строгий взор беспристрастной и добросовестной критики, не что иное, как соринки, которые автору легко смести одним движением пера. Но целое есть чистая, светлая храмина. Строгое и стройное убранство ее успокаивает зрение и душу. В ней протрезвляются чувства и утихают волнения, подъятые тревожными и раздражительными впечатлениями, которые отовсюду осаждают нас. Она призывает к тихому размышлению, втесняет нас, сосредоточивает в самих себе. Из нее выходишь с духом умиленным, с сознательностью и с чувством любви и благодарности к ее строителю и хозяину.

После всего сказанного здесь, если спросят меня: хочу ли, чтобы Гоголь оставил навсегда прежние пути свои и шел исключительно по новому, который он проложил последнею книгою своею? скажу, не запинаясь: нет! я уверен, что между прежним Гоголем и нынешним может последовать и последует прекрасная сделка, полезная мировая. Он умерил и умирал в себе человека; теперь пусть умерит и умирят в себе автора. Пускай передаст он нам все нажитое им в эти последние годы в сочинениях повествовательных или драматических, но чуждый этой исключительности, этого ожесточения, с которым он доньше преследовал пороки и смешные слабости людей, не оставляя нигде доброго слова на мир, нигде не видя ничего отрадного и одобрительного. Гоголь во многих местах книги своей кается в бесполезности всего написанного

им, — это неверно. Писанное им не бесполезно, а, напротив, принесло свою пользу; но оно частью вредно, потому что многими было худо понято и употреблено во зло. Он первый «Мертвыми душами» дал оседлость у нас литературе укорительной, желчной и между тем мелко-придирчивой. А за ним, подбавляя за подлинником, бросились унижать, безобразить человека и общество, злословить их, доносить на них. Все лица, выводимые на сцену последователями его, подлежали на поверку или уголовному суду, или по крайней мере расправе съезжего дома. Особенно на эти последние лица был большой расход, потому что они были более по силам многих. Что французские повествователи ищут вдохновения более в судебной газете, нежели в общей истории человечества и в сердце человека, это хотя прискорбно, но, однако же, понятно. Французское общество потрясено было ужасными переворотами; оно прошло сквозь огонь и кровь. В литературе его неминуемо должны отзываться волнение и брожение, заброшенные в нее событиями и действительностью. Но на нас, благодаря Бога! не были еще посланы жестокие уроки. Отчего же нашей литературе быть лихорадочной и судорожной? Можно сказать, что ее не корчат внутренние, истинно болезненные судороги, а она корчит судороги. Здоровая, она прикидывается больной. По природе своей, по способностям миролюбивая и даже довольно простодушная она сама щиплет, царапает себя, чтобы иметь случай искосить глаза и рот, взъерошить волоса на дыбы и казаться сердитою и страшною. Все это смешно, но все это может быть и жалко в последствиях своих. Обращаться с словом нужно честно, сказал Гоголь. Можно прибавить: и любовно. По словам одного из святых наставников: «Любовь долго терпит, милосердствует, не завидует, не превозносится, не гордится, не раздражается, не мыслит зла, не радуется о неправде, радуется же о истине, все прикрывает, всему веру емлет, все уповает, все терпит». Не только в проповедях и духовных размышлениях, но и в вымыслах воображения, в романе, в драме, в сатире слово может быть проникнуто, пропитано духом примирения и любовью. Этого слова, в каких объемах ни было бы оно — вольному воля! — ожидаем от Гоголя, и более чем когда-нибудь мы вправе ожидать от него.

